

P28501

АНАТОЛИЙ ШИШКО

# ГОРЯЧИЕ ВОДЫ

165

P28501



ГЕКА „ОГОНЕК“

№ 37

ЕСТВО „ПРАВДА“

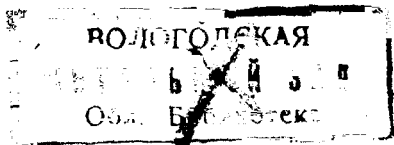
СКВА — 1941



АНАТОЛИЙ ШИШКО

# ГОРЯЧИЕ ВОДЫ

28501



Издательство „Правда“  
Москва — 1941

Отв. редактор Е. ПЕТРОВ

Издательство «Правда»

Изд. № 639

A38046

Заказ тип. 1844.

Тираж 100 000

Статформат А—106×148 мм.

1½ п. л.

Кол. зн. в п. л. 43 200

Цена 20 коп.

Подп. к печати 12/V 1941 г.

Типография «Красное знамя», Москва, Суцеская. 21.

## ГОРЯЧИЕ ВОДЫ

### 1

Из Ставрополя Лермонтов писал Арсеньевой:

«...Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в отставку...»

Об этой отставке он говорил по дороге из Ставрополя в Темир-Хан-Шуру, где был расквартирован полк. Вместе с Лермонтовым ехал его двоюродный дядя, капитан Нижегородского драгунского полка Алексей Аркадьевич Столыпин. По молчаливому уговору друзей Монго—Столыпин должен был охранять Лермонтова в его поездке на Кавказ. Друзья понимали, что тучи над головой поэта сгущаются.

Лермонтов это знал. Оттого так мучительно не хотелось ему в полк, и когда в Георгиевске, настигнутые грозой, путники вынуждены были остановиться, Лермонтов потребовал ехать в Пятигорск.

Столыпин удивленно пожал плечами и вышел.

Не раздеваясь, Лермонтов бросился на койку. Проиграли зорю и все смолкло: шумел дождь. Он лежал и думал о Петербурге. Солоноватый запах Невы ощутил он и вдруг понял: конец! В Петербург не вернуться. Впереди линия и чеченские пули, но все равно последним усилием воли надо было вырваться, свернуть с обреченного пути...

Вздвогнув, Лермонтов открыл глаза. Дверь в соседнюю комнату была приотворена, и щель светилась. Значит, уже вечер, зажгли огонь. Бледный, лежал он навзничь, крепко сжав губы, стиснув руками мокрую шинель.

За дверью твердо, размашисто шагал Столыпин.  
— Монго!

Шаги смолкли.

— Ну, чего тебе?

Лермонтов вскочил с постели и, отбросив шинель, вошел в залу. За столом сидел ротмистр Магденко, догнавший их в дороге, курил трубку. Алексей Аркадьевич расхаживал по комнате. На лавке, рядом с дорожным погребцом, стояли начатая бутылка кахетинского и три стакана.

При виде Лермонтова Магденко приподнялся, делая приглашающий жест, но Лермонтов, не замечая ротмистра, ухватил Столыпина за рукав:

— Послушай, Монго, а ведь теперь в Пятигорске хорошо. Все наши там: Глебов, Лорер, — поедем в Пятигорск!

Столыпин, улыбнулся, но тотчас густые брови его сдвинулись. С минуту он смотрел на Лермонтова пристальным, изучающим взглядом:

— Невозможно, Мишель.

И опять зашагал.

— Почему? — спросил Лермонтов, наливая себе вина. — В Пятигорске комендантом старина Ильещенко, являться к нему незачем. Решайся, Монго, едем в Пятигорск, — с этими словами он глотнул из стакана и, не взглянув на Магденко, вышел.

Он знал: если упрашивать, Столыпин откажет наотрез, а ведь по глазам видно: колеблется. Значит, надо действовать решительно. Лермонтов распахнул окно. «Запрягай!» — крикнул он звонко и прищелкнул пальцами. Из темноты двора доносился приглушенный голос дядьки Ефима: «Сичас!» Нужно выждать еще хоть мгновение, а не терпелось. Лермонтов вернулся в залу, сел на табурет и вынул из кармана полтинник:

— Столыпин, едем в Пятигорск...

Алексей Аркадьевич сидел задумавшись и как будто не слышал Лермонтова. Гроза стихала. Разглаживая свои бачки, ротмистр Магденко с улыбкой поглядывал на спутников. Лермонтов подмигнул ему, словно приглашая в свидетели, и подбросил на ладони монету:

— Послушай, Монго, кидая полтинник, ежели

упадет кверху орлом, — едем в отряд, ежели решотка, — едем в Пятигорск. Согласен?

Столыпин молча кивнул. Монета взлетела в воздух и, упав, покатила под ноги привставшего Магденко. Лермонтов захлопал в ладоши:

— Решотка! Ура! В Пятигорск!

И, подскочив, обнял Столыпина.

## 2

Всю дорогу он смеялся, шутил и, похлопывая по коленке польщенного Магденко, приговаривал:

— Вот, ротмистр, приедем в Пятигорск — я вам покажу карамболь. Три шара фору! Идет?

Дождь лил, потоки его с шумом ударялись в тарантас, и Алексей Аркадьевич поеживался, кутаясь в бурку, но Лермонтов, казалось, не замечал непогоды. Сюртук его был расстегнут, шинель с отвернутым воротником — распахнута на груди, глаза жадно сверкали, он ехал без фуражки, и с крутого лба медленно падали капли. Странное возбуждение охватило Лермонтова. Держа в руках черешневую трубку, которую он никак не мог разжечь, Лермонтов высунулся из тарантаса:

— Здесь вот, ротмистр, я джигитовал, видите: спуск; двое чеченцев погнались за мной, но я



ушел от них на своем карабахе. Славный был конь!

— И все ты врешь, — лениво проворчал Столыпин.

— Я? Вру? Твое счастье, что ты мне дядюшка! Магденко хохотал. Лермонтов ударил его по плечу:

— Клянусь бородой пророка, вы молодчина, ротмистр! А с Монго мы еще встретимся на узенькой дорожке.

— У коменданта Пятигорска, — усмехнулся Столыпин.

Лермонтов ничего не ответил. Ему вдруг все стало безразличным: и то, что ехали в Пятигорск, где их никто не ждал, и то, что не загоралась трубка, и дождь, и эти люди, с которыми он шутил, смеялся, чтобы как-нибудь забыться, не думать о ссылке...

### 3

Они приехали в Пятигорск в грозу, вечером. Вымокший тарантас с кожаным верхом остановился у колоннады ресторации. Чернобородый Найтаки, грек — арендатор гостиницы, — выбежал навстречу, почтительно провел господ офицеров в свободные номера.

Войдя в низенькую каморку, Лермонтов поморщился: пахло не то жженой пробкой, не то пома-

дой. На закапанном свечами столе были разбросаны карты. Очевидно, здесь играли; еще вился трубочный дымок. Лермонтов открыл окно.

Вот он, желанный Пятигорск. Дождь прошел. Над городом, быстро темневшим, неслись обрывки туч, а с бульвара, обсаженного молоденькими липками, уже слышались голоса, красными точками вспыхивали огоньки трубок. Запах свежей листвы был так приятен, что Лермонтов улыбнулся, сняв фуражку, провел ладонью по влажному лбу.

И тотчас, скинув мокрую шинель, начал переодеваться.

Спустя полчаса, тщательно причесанный, в халате с поясом, оканчивающемся двумя золочеными жолудями, Лермонтов сияющий вошел в номер Столыпина:

— Послушай, Монго, и Мартышка, Мартышка здесь!

Потирая от удовольствия маленькие свои руки, Лермонтов ходил по комнате отрывистыми шагами, как бы весь напряженный.

Алексей Аркадьевич, высокий, темноусый, со свежесбритым лицом, сидя у стола, пил чай. Оглядев Лермонтова ласковым взглядом татарских, слегка прищуренных глаз, он недовольно протянул по-французски:

— Не люблю я твоего Мартышку.

— Однако! — Лермонтов повернулся на каблуках. — Чем же именно не угодил тебе Николая?

Николай Соломонович Мартынов, майор в отставке, учился вместе с Лермонтовым в Петербурге, в школе гвардейских подпрапорщиков. После они встречались в Москве и на Кавказе. Дружбы между ними не было, настоящей дружбы Лермонтов не знал, но Мартышка был невольным свидетелем юности.

— Я послал за ним, сейчас придет, — закончил Лермонтов и бросился в кресло, — а ну налей, Монго.

Столыпин, не торопясь — он все делал размеренно, — наполнил стаканы ромом.

— За удачу! — сказал Лермонтов, поднимая свой стакан.

Они чокнулись и выпили.

— Не знаю, что ты подразумеваешь, говоря об удаче, — заметил Столыпин, разглаживая пальцами усы, — но прошу тебя об одном: никаких историй.

Он стал серьезен, ленивость жестов исчезла, и перед Лермонтовым сидел теперь его ментор, старший в чине товарищ, недреманное око бабушки.

— Но-но, mon cher! ты, право, на все смотришь

---

<sup>1</sup> Мой милый

слишком уж мрачно, — говоря это, Лермонтов скинул брови, отчего мальчишеское его лицо стало еще задорней, — не забывай, пожалуйста, сентенции моего капитана: «натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка!»

— Ты все шутишь, — хмуро отозвался Столыпин, — прошу, однако, не забывать, что ты дал слово вести себя благоразумно, и только потому я нарушил приказ начальства: вместо Шуры, куда нам предписано, приехал сюда, в этот самый Пятигорск.

Лермонтов вскочил. Глаза его сверкнули.

— Повтори, — сказал он, — а разве я когда-нибудь нарушал слово? Нет, ты восхитителен, Монго! Но ты сам виноват: первый произнес сакраментальное слово и нарушил. Пью за него! За это и за грядущие нарушения приказов начальства. А слово я дал. Ахметка! — крикнул Лермонтов, хлопая в ладоши.

В помер вбежал черномазый татарчонок в рваном бешмете, с вытаращенными от усердия глазами.

— Был у майора Мартынова?

— Был, бачка, был....

— И что же? — нетерпеливо топнул ногой Лермонтов.

— Велели сказать, что заняты и придти не могут.

— Ну вот, видишь, — лениво усмехнулся Столыпин.

Ахметка вышел.

— Ничего я не вижу, — вспыхнул Лермонтов, — сидит тут и каркает, как ворона! Покойной ночи.

#### 4

Рано утром, когда он проснулся, все уже выглядело иначе. Окно Лермонтов забыл закрыть, и предутренняя свежесть, пробудившая его, наполнила душу радостным возбуждением.

Солнце, солнце потоками лилось в комнату.

Город, омытый грозой, преобразился, засверкал лаком зелени, небо было синее, без облачка. Здесь всегда так просыпаешься — помолодевшим, полным сил.

А гостиница все-таки — дыра. Ночью какие-то приезжие стучались в номер, приглашали играть в карты. Может быть, это и устраивало господина Печорина, а его нимало — слуга покорный! Не за тем он вовсе ехал в Пятигорск.

В это утро ему хотелось быть одному, чтобы глубже, полнее ощутить свою неожиданную свободу. Сбежав вниз и убедившись, что Монго еще спит, Лермонтов вышел на бульвар.

Он был пуст. Рано, слишком рано, для модных дам и кавалеров, для седоусых штабс-капитанов, всю ночь загибавших углы карт в ресторации.

Раскачивающейся походкой кавалериста Лермонтов шел вверх, по аллее бульвара. Город пробуждался. Хлопали двери домов: хозяйки с корзинами шли на базар. Дома были одноэтажные, из серого поздраватого камня, называемого итальянцами «травертино». Порода его добывалась на восточном отроге Машука.

Лермонтов шел, с любопытством поглядывая вокруг. За эти шестнадцать лет, когда он впервые приехал в Пятигорск, город стал неузнаваем: закончено здание гостиницы, иначе — ресторации, расширен и засажен липами бульвар, да и сам городок именуется теперь Пятигорском, по имени главной горы Бештау<sup>1</sup>.

Во времена его детства Пятигорск был казачьей станицей и назывался Горячеводском.

И вдруг, повинувшись какому-то, еще не ясному для него самого воспоминанию, Лермонтов свернул к Горячей горе. Здесь, у подошвы ее, жил он с бабушкой в детстве.

Сев на камень, Лермонтов снял фуражку и осмотрелся.

От усадьбы тетки, генеральши Хостатовой, где они гостили с бабушкой, ничего не сохранилось, кроме разросшегося сада, куда он любил уединяться с книжкой, наскучив бегать в ловитки с

---

<sup>1</sup> Б е ш по-тюркски — пять, тау — гора.

бесчисленными кузенами и кузинами, наводнявшими дом Хостатовых.

Среди гостей, приходивших играть с кузинами, была одна девочка, лет девяти, белокурая, с голубыми глазами. Как звали девочку, кто она была, Лермонтов не знал, но чувство восхищения, пережитое им, было так глубоко, что запомнилось навсегда...

Долго сидел он, не двигаясь, погруженный в раздумье. Потом поднял голову, улыбнулся.

Спадая с камня на камень, вода шумно, потоками сбегала вниз. В небе шли облака. Тени их лсжились на склоны гор, поросших виноградниками, пересекали долины с разбредшимися стадами.

Лермонтов осторожно приподнялся, раздвинул кусты. Узенькая тропинка вела к предгорью Машука.

Он пошел по ней.

Все выше взбирался он, и перед ним росли, вставали горы. Ослепительной белизной сверкал двуглавый Эльбрус. Снежные его вершины, казалось, плыли в небе, как облака, не отбрасывающие теней, как видение далекой, невозвратимой страны юности...

## 5

Становилось жарко. Спускаясь с Машука, Лермонтов свернул по тропинке в гроту. Между ку-

стов, на повороте аллеи, мелькнула фигура девушки. Над головой девушки медленно вращался зонтик, бросая на щеки ее блики света.

Другая девушка, совсем еще юная, шла под руку с Мартыновым, но Лермонтов, не отрываясь, следил за первой, одетой во все белое. Смуглое ее лицо было строго, глаза полуопущены.

Задумавшись, она шла, рассеянно обрывая лепестки мака и, подняв голову, невольно замедлила шаги.

Лермонтов почтительно приложил пальцы к фуражке. Подоспевший Мартынов, досадуя на неожиданность встречи, сухо представил ему старшую из своих спутниц:

— Эмилия Александровна Клингенберг, падчерица генерала Верзилина, поручик Лермонтов, — и, обращаясь к юной даме, с улыбкой добавил: — Мадмуазель Надин Верзилина.

Девушки присели в реверансе и, взявшись за руки, пошли вперед.

Мартынов проводил их взглядом знатока, озабоченно пощипывая бакенбарды.

— Давно в Пятигорске? — спросил он отрывисто.

Одетый в тонкую, серого сукна черкеску, с папашой, надвинутой на белобрысые брови, Мартынов казался постаревшим, но держался так же величественно, одной рукою упираясь в бок, другой обхватив рукоять кинжала.



Лермонтов усмехнулся:

— А разве ты не знаешь: со вчерашнего вечера.

— Но как, Майошка, каким образом?

— Очень просто: выслан из Петербурга в срок восемь часов...

Лермонтов надел картуз, и они тронулись по аллее, вслед за удалявшимися девушками. Слышавшая их шепот, легкий смех, напоминавший переливы горлинок, Лермонтов улыбался про себя. Он даже не понимал, что говорит ему Мартынов, отвечая рассеянно, невпопад.

Поровнявшись с сестрами, Лермонтов предложил руку старшей из Верзилиных.

— Вы всегда здесь живете? — спросил он.

Эмилия Александровна чуть наклонила голову. Они пошли рядом, за ними, немного отстав, — Мартынов в паре с Надин.

— Я вас тотчас узнал, — медленно продолжал Лермонтов, — вашу походку, лицо, немного потемневшие волосы...

Думая, что он шутит, но все еще сохраняя настороженный вид, Эмилия Александровна ответила:

— Разумеется, я слыхала о вас, читала ваши произведения, но видимся мы с вами, мсье Лермонтов, в первый раз.

— А в детстве! — воскликнул он.

Лицо девушки стало строгим, озабоченным. Ей уже рассказывали о чудачествах этого человека, но она вовсе не расположена была шутить с незнакомым поручиком в армейских эполетах.

— Вы ошибаетесь, — сказала она сухо.

Лермонтов остановился:

— Ничуть! Вы только припомните: усадьба генеральши Хостатовой, возле Горячей горы, лето 1825 года, вечер, все двери распахнуты, я вбегаю в гостиную и вижу вас с куклой в руках. Мы смотрим друг на друга минуту, другую, — он говорил тихим, взволнованным голосом, лицо его дышало радостью встречи.

И, смущенная, уже поддаваясь обаянию этого человека, она спросила улыбнувшись:

— А дальше?

Вздохнув, Лермонтов ответил:

— Дальше начинается моя тайна. Боясь, что за мной следят взрослые, бабушка, я убежал на вершину Горячей горы и там, сидя на камне, с ладонью, прижатой к бьющемуся сердцу, думал о вас. Мне было десять лет. О, эта минута первого беспокойства страстей! И так рано... — смолкнув, он задумался, с лица его, внезапно погрузневшего, сбежала улыбка, казалось, он сам был растерян неизвестно откуда налетевшим порывом.

Эмилия Александровна смотрела на спутника с любопытством, но без неприязни:

— Картина, нарисованная вами, прелестна, хотя я никогда не гостила в усадьбе госпожи Хостатовой и не имею чести знать вашу бабушку.

Лермонтов выпрямился. Взор его заблестел:

— Но вы могли играть с моими кузинами, я мог вас там встретить. Не спорьте! Я увез бы вас в Петербург. Зимой, когда снег слепит глаза, мы несемся с вами на низеньких саночках вдоль Невы. Лошади заворачивают на Морскую. Здесь наш дом. Выходим по лестнице. Направо — мой кабинет, ваша половина — налево. Прямо у дивана — столик с рукоделием, в углу — пианино. Вы ведь играете?

Она машинально кивнула и вдруг, вспыхнув, прервала его:

— Всего этого не было. Слышите!

Лермонтов ниже опустил голову.

— Жаль, — сказал он, — я часто думаю: жизнь — вовсе не прямая дорога, как говорят, а тысячи, миллионы тропинок; стоит только свернуть на одну из них — и все начнется с детства, юность, счастье...

— Вы странный человек, — сказала Эмилия Александровна.

— Может быть, — ответил он так же тихо, не

двигаясь с места, — меня в этом уверили. И совершенно напрасно! Я самый обыкновенный человек, люблю родину, стихи...

Последние слова он произнес совсем неслышно и, вскинув голову, закончил рассмеявшись:

— А все-таки я прав. Вы забыли, вы все забыли: пианино стояло направо, в углу.

Эмилия Александровна улыбнулась:

— На этот раз вы угадали. Мое пианино здесь, в Пятигорске, действительно находится в углу гостиной, в нашем доме на Дворянской улице, где мы будем рады вас видеть, — и протянула руку.

## 6

— Послушай, мой друг, — говорил Алексей Аркадьевич Столыпин обедавшему с ним Лермонтову, — мне рассказывали, что ты ежедневно проводишь свои вечера у Верзилиных. Это правда?

— Может быть, — усмехнулся Лермонтов.

Они сидели у окна их нового жилища, в маленьком домике плац-адъютанта Чилева, где поселились на другой день после своего приезда в Пятигорск

Столыпин снял с груди салфетку, аккуратно сложил ее уголком.

— Не знаю, насколько это верно, — продолжал он хмурясь, — но Мартынов говорил мне, что те-

бя всюду видят в обществе старшей из Верзилиных и притом в самых растрепанных чувствах. Серьезно, мой милый, опять начинается история?

— Не горячись, Монго, — ответил Лермонтов, вставая, — всякая история имеет свой конец, а эта — без начала. До свидания. Я спешу.

Схватив со стула перчатки, он быстрыми шагами прошел на другую половину, открыл стеклянную дверь балкончика и по лесенке спустился в сад.

Солнце заходило. В глубине садика сквозь заросли кизилия сонно булькал ручей. Каменный, по кавказскому обычаю, заборчик отделял владения Чиляева от верзилинских, а там, еще дальше, в сгущавшейся синеве вечера темнели бархатистые строгн Машука.

Проходя мимо клумбы с вьющимися над ней пчелами, Лермонтов скосил глаза и, заметив в окне угрюмое лицо Стодыпина, усмехнулся: что он мог поделаться с собой, когда его, как пчелу, неудержимо влекло к этому оранжерейному цветку?..

Миновав соседний дворик, Лермонтов легко вбежал на терраску, увитую диким виноградом. Двери были распахнуты. На пороге гостиной Лермонтов остановился.

Эмилия Александровна сидела за пианино. На

ней было светлое платье, чуть белевшее в полусумраке гостиной.

Акомпанируя себе, девушка тихонько напевала. Голос был нежный и грустный.

С минуту Лермонтов стоял не шевелясь. Волнение, охватившее его, было так неожиданно, что он замер, крепко стиснув губы. Только что, говоря с Монго, он шутил, смеялся, но где-то в глубине изверившегося сознания таилась смутная, едва ощутимая надежда встретить человеческое сердце, искреннее и любящее...

Пробежав пальцами по клавишам, Эмилия Александровна обернулась и встала:

— Мсье Лермонтов!

— Играйте, — сказал он, — ради бога, играйте. Я сяду в уголок и не буду вам мешать.

Помолчав, он закончил:

— Все это уже было...

Она стояла спиной к пианино, покрасневшая, с гордо закинутой головой:

— Что именно было? Я вас не понимаю.

Лермонтов взял ее за руку:

— Вы играли, я вошел. Вы спросили меня: как с военной службой, я ответил, что отставка мне разрешена, я свободен. Улыбнувшись, вы сели за пианино, и опять полились звуки Моцарта, восхищавшего Пушкина.

Эмилия Александровна резко высвободила свою руку:

— Послушайте, мсье Лермонтов, это, наконец, несносно. Я согласна играть, но только на пианино, а не в какой-то выдуманной вами фарсе.

Оправив развившийся локон, она добавила:

— Садитесь, пожалуйста. Сейчас придут гости, будем играть, разгадывать шарады.

Лермонтов дернул плечом.

— Опять! И вам еще не надоело? Но ведь заранее известно все, что будет: юнкер Бенкендорф, поведает нам о назначениях в гвардии, Мартышка станет щуриться и принимать позы, а великолепный князь Васильчиков расскажет анекдот времен царя Гороха. Скучная жизнь?

Эмилия Александровна нахмурилась:

— А что вы понимаете под словом жизнь?

Лермонтов ответил серьезно, глухим голосом:

— То, чего не бывает в действительности: воображение, мечту — назовите, как угодно...

Она подумала немного, потом сказала с насмешливой улыбкой:

— Но вы сами живете вполне реальной, а не вымышленной жизнью, вы офицер, поручик Тенгинского полка...

— Добавьте: высланный на Кавказ, — подхватил Лермонтов оживляясь, — но ведь это одна из тропинок, на которую я свернул по чистой случай-

ности. Я должен находиться сейчас в Темир-Хан-Шуре, на линии...

Она следила за ним с тревогой, кусая губы  
— Следственно, — продолжал Лермонтов, рассказывая по комнате, — жизнь наша соткана из случайностей, а если так, то почему же вы не можете допустить, что мы встречались уже в детстве и полюбили друг друга?

Эмилия Александровна вспыхнула, но сдержалась.

— Я допускаю, — сказала она, — но с тех пор вы сильно изменились, и я вас разлюбила.

Он молча поклонился и, взяв фуражку с кресла, пошел к дверям.

— Мсье Лермонтов! — крикнула Эмилия Александровна. — Это же шутка!

Он обернулся, посмотрел на нее долгим, грустным взглядом....

— Нет, — сказал он тихо, — это правда.

И вышел.

## 7

Бал был назначен ровно в девять, но едва солнце скрылось за Бештау, как пустынные днем улочки Пятигорска ожили. Еще светло, но в окнах огни, на террасках, балкончиках слышны девичьи голоса, возбужденный смех.

По Дворянской на англазированной своей кобыле проскакал граф Воронцов.



Пощелкивая стеклом, он яростно шпорил коня. Граф был возмущен: «Танцевать на песке, смешавшись с чернью!» За неделю до этого бала повсюду: на Провале, у Елизаветинского источника, в ресторации — граф Воронцов составлял свою партию, но компания Лермонтова победила: бал был назначен на открытом воздухе, у Николаевских ванн.

Был тихий, прозрачный вечер, начало июня. Вдоль бульвара и на липах цветника трепетали раскачиваемые ветром фонарики. Напротив здания ванн, у грота Дианы, убранном коврами и персидскими шальями, струнный оркестр ресторации играл ланнеровский вальс.

Уже кружились, мелькая среди лип, первые пары. Дамы с косынками на плечах, шурша широкими, в оборках, юбками, плавно ставили на песок туфельку, кавалеры отзвякивали такт шпорами. Свет люстры, заженной в гроте Дианы, падал на площадку, выхватывая из полутьмы то аксельбант, то пряжку на туфельке, то розу у корсажа.

Прислонившись к колонне грота и откинув голову, Лермонтов наблюдал за ночными бабочками, выющимися вокруг огня. Под люстрой лицо его было бледно, губы плотно сжаты. Не хотелось ни говорить, ни думать. Но музыка, доносившаяся с площадки, уже овладевала душой — набежали

слезы. Так было всегда, и он знал: чтобы переломить тоску, надо мчаться на «Черкесе» в горы, вальсировать до помрачения в глазах — только бы не думать. А дума одна: Петербург. Но верить-ся нельзя. Нужна отставка. Отставки не дадут...

Заметив приближающегося Васильчикова, Лермонтов усмехнулся, провел ладонью по лбу.

На князе Ксандре был синий фрак, узкие, палевого цвета панталоны со штрипками, расшитый жилет. Молодой человек поминутно взбивал рукой в перчатке завитой кок и опрыскивал себя из хрустального флакончика духами. Шел он развинченной, семенящей походкой.

— А что, Мишель, — щурясь и растягивая слова, заговорил Васильчиков, — ежели все-таки граф Воронцов сменит гнев на милость и явится?

— Не пушу. Я и билета ему не послал.

Разглядывая в лорнет проходившую даму, князь Ксандр поморщился:

— Неудобно. Он же рю-ри-кович...

— А я Юрьевич!

Дернув плечом, Лермонтов быстро пошел на встречу подъезжавшей карете. Это были Верзилины. Князь Ксандр и офицеры: Глебов, Лорер, Серж Трубецкой, — выбежавшие из грота, где они украшали столики цветами, бросились к дверце кареты, но Лермонтов открыл ее, подал руку девушке с ясными, смеющимися глазами:

— Эмилия Александровна, первую мазурку мне!

Подскакавший вслед за каретой Мартынов спешился, почтительно протянул руку другой девице, одетой во все белое, от туфельки до розы в завитых локонах.

— Мадмуазель Надин, — низко поклонился Мартынов, — я имею честь ангажировать вас pour mazurka<sup>1</sup>.

Высокий, широкоплечий, в ослепительно белой черкеске с золотыми газырями, Мартынов величественно отступил на шаг и выпрямился, отдав поклон. Бритая голова его была обнажена, в руке — папаха. Правой рукой Мартынов сжимал рукоять дагестанского кинжала. А когда он повернулся, пропуская свою даму вперед, позади, на ремне кавказской работы, Лермонтов заметил другой кинжал, поменьше.

— Вооружен со всех сторон, — шепнул Лермонтов Эмилии Александровне и, кивнув, добавил: — Значит, первую мазурку вы танцуете со мной?

Она стояла, опустив голову, смущенная его нетерпеливым взглядом:

— Там посмотрим, как будете себя вести.

— Как ангел. Николая! — обернулся Лермонтов к Мартынову. — Ты свидетель: мадмуазель Эмили обещала мне мазурку.

---

<sup>1</sup> Пригласить вас на мазурку.

Николай Соломонович торжественно вел свою даму под руку. Холеное его лицо с тщательно расчесанной русой бородкой сверкало самодовольной улыбкой. Голову он нес немного на бок и, выгибаясь всей стройной своей перетянутой фигурой, выражал почтительность к юной даме.

— Я? Помилуй бог! Пока я был свидетелем, как ты не даешь нам всем пройти.

Лермонтов улыбнулся:

— Не правда ли, мадмуазель Эмили: он страшен со своими кинжалами? О, не отпирайтесь, я знаю, вы трепетали, ощущая на себе его грозное дыхание.

На детском личике Надии мелькнуло недовольство:

— Но мсье Мартышов ехал не с нами, а верхом. Как любезный рыцарь сопровождал нас.

— Ну, разумеется, — радостно подхватил Лермонтов, — оттого-то рыцарь весь в мыле, а конь его сух, как осенний лист. Я просто теряюсь, кто на ком ехал, — и, обняв Эмилию Александровну за талию, Лермонтов крикнул:

— Вальс!

## 8

Бал разгорался, все больше и больше танцующих пар выходило в круг, оцепленный красной лентой, а когда загредел с площадки над гротом

духовой оркестр, гости смешались от неожиданности. Разрывая ночь вспышкой, лопнула и полетела ввысь ракета. Над Горячей горой дождь огненных звезд рассыпался, медленно растаял в сивеве воздуха; все захлопали в ладоши.

Лермонтов носился по кругу, распоряжаясь, танцами. Мундирный его сюртук мелькал среди черных, синих фраков, расшитых шнуром гусарских курток. И где бы он ни появлялся, хоть на мгновение, раздавались взрывы хохота, бурные аплодисменты.

Им овладело стремительное, безудержное веселье. Эпиграммы и шутки разрывались, как ракеты, вокруг Мартынова, притворявшегося, что он их вовсе не замечает, а это еще более распалило Лермонтова. Танцуя, он видел, как хмурит брови корнет Глебов, бледнея, сжимает в руках граненый флакончик Васильчиков, но остановиться не мог; его несла волна ярости ко всем этим тщеславным и ничтожным людям, провожающим его изумленными, ненавидящими взглядами, и он знал: теснее сжимается круг.

А временами казалось: круг разомкнется! Должен же быть кто-нибудь по-настоящему близкий в этой насторожившейся толпе друзей и врагов?

После одного бешеного тура вальса Лермонтов, запыхавшись, подошел к Лореру, молча наблюдавшему за танцующими. Тронул его за плечо:

— Видите вы даму Дмитриевского? Не правда ли, хороша? Это про нее он сказал:

Любил я очи голубые,  
Теперь люблю я карие...

Вытирая лоб платком, Лермонтов тяжело дышал. На округлом его, блестящем лбу выступили росинки пота, юношески взволнованное лицо было так радостно, что Лорер, редко видевший Лермонтова в счастливом настроении, улыбнулся:

— Да, очень. А ваша избранница, Михаил Юрьевич, покажите мне ее...

Лермонтов задумчиво пощипывал усики.

— Сегодняшняя? Вот она, — и кивнул в сторону Эмилии, вальсировавшей с маленьким Пушкиным.

Остролицый, с кудреватыми, как у брата волосами, Лев Сергеевич Пушкин старательно выделял па и, вытягиваясь на носках, что-то шептал на ухо смущенной Эмилии. От усердия Пушкин приседал, и густые эполеты его, как крылышки, хлопали по плечам.

— А он плохо танцует, — презрительно добавил Лермонтов, — этот майор Пушкин.

И отошел.

Взор его темных глаз неотступно следил за Эмилией Александровной, танцовавшей попеременно то со Львом Пушкиным, то с корнетом Глебовым. Стройная, в своем кружевном платье

с газовыми рукавами, трепетавшими по ветру, она казалась Лермонтову той, кого он искал всю жизнь и не мог найти.

Едва кончилась мазурка, он подошел к ней, предложил руку.

— О чем вы говорили с Лорером? — спросила Эмилия Александровна, когда они закружились под звуки уносившего их вальса.

— Угадайте! Я спорил, тщетно доказывая ему, что все женщины — игрушки своих страстей, бездушные кокетки.

Эмилия Александровна улыбнулась:

— И я?

— О, вы другое, вы Роза Кавказа, *belle rose*<sup>1</sup>, — шептал упоенно Лермонтов, склонившись к ее обнаженным плечам и делая вид, что вдыхает аромат цветка.

Она вспыхнула: лицо кавалера дышало неподдельной страстью, пугавшей Эмилию Александровну.

— Вы опасный человек, — говорила она, невольно отстраняясь, когда они шли в танце, спаянным ритмом, опьяненные этой близостью, грохотом музыки, теплотой ночи, словно прикрывшей их своим синим плащом.

— Не более мотылька, — отвечал Лермонтов, и смуглое его лицо с выдающимися скулами, на

---

<sup>1</sup> Прекрасная роза.

которых рдели два пятна, казалось ей в эту минуту таким прекрасным, что девушка стыдливо опускала длинные свои ресницы.

— Зачем вы дразните Мартынова?... — спрашивала она и, как бы отвечая на свои мысли, продолжала: — Он ухаживает за Надин, но Надин — девочка, почти ребенок. Ах, если б с вами можно было говорить серьезно...

— Не говорите. Все серьезное скучно, — отвечал он, приближая свое разгоряченное лицо к ее щекам, и улыбался, и лицо его делалось нежным, как у мальчика.

— Раз-два-три, — повторял он, — раз-два-три!..

— Мне кажется, я не нуждаюсь в счете, — заметила Эмилия Александровна и хотела остановиться.

Но Лермонтов, сжав ее ладони, прошептал:

— Еще один тур, умоляю вас, последний раз в жизни...

Она покорилась, ее несла сказочная сила ночи, и порой, казалось, замирали, слабая, звуки вальса, ярче вспыхнули звезды, вращавшиеся в глубине неба.

— Почему последний раз в жизни? Вы уезжаете?

— Раз-два-три, — отсчитывал он, кивая в такт, — да, скоро...

— И далеко?



— Очень. Раз-два-три.. Но сегодня мне хорошо, а вам? Ах, Эмили, все хорошее бывает последний раз в жизни. Сегодня сама богиня Диана вышла из своего грота и веселится с нами.

— Кто же она? — спросила Эмилия Александровна, лукаво улыбаясь.

— Вы. Диана-охотница вы, Эмили. И я погиб! Впрочем, не я один. Взгляните на Мартынова. А князь Ксандр, видите: он не спускает с вас взора и облизывается, разве это не поэтично? Сказочная ночь! Не предупреждайте Надин, она делает ошибку, увлекаясь Мартышкой, в этой жизни мы все делаем ошибки, а я больше всех, но там их уже не будет.

Эмилия удивленно приподняла голову:

— Где это там, Михаил Юрьевич?

Он молча вальсировал. Взгляд его скользил вокруг равнодушно, губы были сжаты, и теперь резкое в лучах света (они пронеслись под фонарем) лицо Лермонтова было попрежнему жестким и насмешливым.

— Михаил Юрьевич, я вас спрашиваю!

— Далеко, — ответил он глухим голосом, и она пристально взглянула ему в глаза, но промолчала.

Они прошли еще круг и, замедлив, остановились.

— Мишель, вы должны мне сказать, что у вас на сердце...

— Но если мне нечего говорить? Впрочем, извольте: меня убьют.

Эмилия Александровна вздохнула, грудь ее под кружевом тяжело вздымалась, разжавшаяся рука упала. Пытливо глядела она в окаменевшее лицо Лермонтова, не понимая, шутит он или говорит серьезно. Приглаживая пробор, угрюмо смотрел на нее Лермонтов, и, чтобы скрыть неловкость, уже досадуя на волнение, вызванное этим странным человеком, она с трудом разжала губы:

— Какая-нибудь Диана-охотница?

— Нет, — сухо ответил Лермонтов, — какой-нибудь досужий охотник.

И помолчав, добавил:

— Как Пушкина...

Эмилия Александровна резко вскинула голову:

— Вы слишком высокого о себе мнения, мсье Лермонтов!

Он молча поклонился. Заметив холодный, отчужденный взгляд собеседницы, Лермонтов бережно поднес к губам ее руку, поцеловал.

— Вот и сказке конец, — сказал он усмехнувшись.

Третьего дня был танцевальный вечер в ресторации, вчера ездили кавалькадой на Провал, се-

годня всю ночь играли в банк, и так каждый день: пикники, балы, карты; пора кончать...

Тринадцатого июля, накануне отъезда Лермонтова в Железноводск, как всегда, собрались у Верзилиных. Был душный вечер. Предвещающая грозу, по небу бродили низкие тучи, ветер стих — пламя свечей, зажженных у пианино, недвижно стыло в нагретом воздухе.

Все уже было перепробовано: ледяной квас и фруктовое мороженое. Беседа шла вяло. Сидя в уголке гостиной, Лермонтов скучающе чертил мелом по столу. Князь Трубецкой играл. Облокотившись на пианино, Николай Соломонович Мартынов разговаривал вполголоса с Надин. На поясе ее поблескивал серебряный кинжалчик кавказской работы.

Об этом кинжалчике Лермонтов написал в альбом шуточные стихи. А вот другой сестре, Эмме, он не посвящал стихов. Лермонтов усмехнулся. Но теперь, когда он уезжает, это можно сделать. И он тут же, на столе, небрежным своим почерком набросал четыре строчки:

Зачем, о счастья мечтая,  
Ее зовем мы: гурня?  
Она, как дева, — дева рая,  
Как женщина же — фурия...

Подняв голову, Лермонтов встретился взглядом с Эмилией Александровной и покраснел, как мальчишка, застигнутый в шалости.

Девушка сидела в кресле, откинувшись назад, с полузакрытыми глазами. По лицу ее бродили тени свечей, лоб был снежно чист, высок и безмятежен. Чуть улыбаясь, Эмилия Александровна смотрела на Лермонтова осуждающе равнодушно, и он это знал и не мог себя побороть. Ради насмешливой улыбки, двух-трех ничего не значащих слов торчал он здесь, не смея встать и уйти.

Раздраженно чертил Лермонтов по сукну карикатуру на Мартынова. Вот Мартынов въезжает в Пятигорск, и восхищенные дамы хлопают в ладоши. А вот Мартынов объясняется в любви Надин.

— *Montagnard au grand poignard*<sup>1</sup>, — пробормотал Лермонтов на ухо зажмурившемуся от удовольствия Льву Пушкину.

Неожиданно Трубецкой встал, и окончание фразы Лермонтова явственно прозвучало в тишине гостиной. Переменившись в лице, Мартынов засучил рукава своей черкески, твердыми шагами направился к Лермонтову. Глебов и князь Васильчиков разом отвернулись к окну. Эмилия Александровна опустила глаза и сидела молча, внимательно разглядывая кончик своей туфельки.

Остановившись перед Лермонтовым, Мартынов сказал громко, отчеканивая каждое слово:

---

<sup>1</sup> Горец с большим кинжалом.

— Сколько раз я просил вас, мсье Лермонтов, оставить свои шутки хотя бы при дамах.

И, не дожидаясь ответа, отошел.

Эмилия Александровна улыбнулась:

— Язык мой — враг мой. Неправда ли?

Глаза ее сверкнули так вызывающе, что Лермонтов отвел свой взор и, желая скрыть невольное смущенье, с беспечным видом ответил:

— Это ничего, завтра мы снова будем друзьями.

Князь Трубецкой, ударив по клавишам, заиграл вальс. Никто не решался танцевать. Бросив мелок, Лермонтов подал руку Эмилии Александровне:

— Один только тур, прошу вас, в знак примирения.

Она колебалась, потом несмело протянула руку. Молча они провальсировали два тура под пристальным взором всего общества и сели в уголок гостиной. Но беседа не кленлась. Было душно. Нагорая, чадили свечи.

Взяв свою фуражку, Лермонтов откланялся.

При выходе от Верзилиных он увидел на крыльце Мартынова.

-- Послушайте, мсье Лермонтов, я прошу, наконец, всерьез: оставьте ваши неуместные шутки!

Мельком взглянув на приятеля, Лермонтов усмехнулся:

— Что ж, ты на дуэль меня за это вызовешь, что ли?

Мартынов важно поклонился:

— Да. Считайте это вызовом.

И быстро пошел вперед, нагоняя поджидавшего его князя Васильчикова.

10

Чем больше он раздумывал о нелепости этого вызова, тем яснее становилось: конец. Завтра они могли выпить в ресторации шампанского и помириться, но, встретившись на другой день у колодца, Мартынов не поклонился, насмешливо взглянул Лермонтову в глаза и отвернулся.

Тогда в дело вступили друзья. Алексей Аркадьевич говорил, что все это вздор и что он сам, без посторонней помощи, уладит ссору. Мартынов не пожелал с ним объясниться. Смущенно разводя руками и заикаясь от волнения, князь Васильчиков сказал:

— Н-надо драться.

И перевел испуганный взор на Лермонтова.

Все ждали молча, опустив глаза. Лермонтов согласился и тут же назначил своих секундантов.

Больше он ничего не хотел слышать о дуэли.

Велел Ефиму оседлать «Черкеса» и прошел к себе в кабинет.

Был полдень. В небе шли легкие облака. Окно было раскрыто. Ветерок перебирал бумагами, разбросанными по столу.

Не садясь, Лермонтов взял одну из них, прочел:

В небесах торжественно и чудно!  
Спит земля в сияньи голубом....  
Что же мне так больно и так трудно?  
Жду ль чего? жалею ли о чем?

Эти стихи он написал вчера ночью, возвратившись от Верзилиных.

Он сел, стиснул карандашик, оправленный в камышинку, и задумался. За окном, бросая тени на бумагу, шелестел листвою сад. Когда они с Монго приехали в Пятигорск, под окном цвели черешни, их розовые лепестки усыпали письменный стол. Теперь черешни покраснелись, Лермонтов протянул руку, сорвал ягоду и, улыбнувшись, положил в рот.

Решительно не писалось. Он захлопнул тетрадь, откинулся в кресле.

В дверь постучали.

— Entrez!, — лениво отозвался Лермонтов.

Вошел Столыпин, начал молча ходить по кабинету. Лермонтов угрюмо следил за Монго. Вот точно так же Монго отмеривал шаги на его поединке с де Барантом. Лермонтов встал, подошел к окну. Странное беспокойство охватило его. Стра-

---

<sup>1</sup> Войдите.

ха не было. О дуэли с Мартыновым он не думал вовсе и недоверчиво хмурился, слушая Алексея Аркадьевича, продолжавшего шагать из угла в угол.

— Я был у него, — рассказывал Столыпин, — мычит что-то, жалуется, что оскорблен.

— Это — его право, — спокойно отвечал Лермонтов, — меня удивляет другое: как это люди, подобные Мартышке, могут быть оскорблены?

Столыпин вынул фуляр, провел им по лбу.

— Прости, пожалуйста, — сказал он раздраженно, — но это уже какая-то философия, понимать которую я отказываюсь. Все очень просто: ты его вышутил, он обиделся.

Они стояли у двери, выходящей на балкон. Было жарко. Солнце, падая сквозь стекло, заливало полуденным светом Лермонтова, одетого в зеленый сюртук, запахнутый на груди. Лицо его, с румянцем на смуглых, обветренных щеках, было строго, губы плотно сжаты.

— Не так просто, — задумчиво ответил Лермонтов, — я его вышучиваю давно, со школьных лет. У нас были счеты посерьезнее, и он не спешил их сводить. Здесь другое...

Столыпин недоумевающе смотрел на Лермонтова:

— Уж не хочешь ли ты сказать, что его подбили? Вот вздор! Кто же это! Товарищи Марты-



пова: Глебов, Трубецкой, князь Ксандр Васильчиков — наши лучшие друзья. На беднягу Глебова смотреть больно, извелся весь, день и ночь хлопочет, ищет случая вас примирить.

Лермонтов пожал плечами:

— Делайте, как знаете...

И, взяв с подоконника фуражку, вышел во двор.

Нет, дуэль не страшила его, но бесконечные разговоры о ней были несносны.

Пощелкивая плетью по сапогам, он расхаживал в ожидании коня. Ефим выводил из стойла косящего глазом «Черкеса».

Дверь соседнего флигеля, где жил князь Васильчиков, распахнулась, и корнет Глебов показался на лесенке, бледный, без мундира, с растрепанной прической.

— Мишель, ты куда это?

Лермонтов с улыбкой смотрел в растерянное лицо друга.

— В Железноводск, — ответил он, — а что?

— Нашел время, — сказал Глебов, морщась и прижимая к груди забинтованную руку, — сегодня вечером Мартынов будет в ресторации. Идем с нами, мы вас помирим. Серьезно, Мишель, это же глупо, — тянул Глебов, озабоченно глядя в глаза.

Лермонтов застегивал перчатки. Голос его был сух и тверд:

— Ты же сам советовал мне ехать в Железные, пока вы тут успокоите Мартынова.

— Во-первых не я, а князь Ксандр...

— Все это вздор, Глебушка, — перебил Лермонтов, — но, если хочешь знать правду, я не сержусь на Мартынова.

Глебов угрюмо смотрел в землю. Слова Лермонтова сбивали его с толку, и сам Лермонтов начинал понимать, что от него все чего-то ждут, ждут с нетерпением и боязнью.

— Значит, ты согласен на мировую? — помолчав, спросил Глебов.

Лермонтов кивнул:

— Разумеется. Во всяком случае, предупреждаю: я выстрелю на воздух.

— Это — твое последнее слово?

— Последнее.

Вскочив на коня, Лермонтов разобрал поводья и рысцой выехал в раскрытые слугой ворота.

Он любил скакать, пригибаясь в седле, осыпaeмый брызгами росы. Какая бы тревога ни томилa душу, все мгновенно рассеется в стрёмитель-

ном, очищающем порыве несущегося навстречу ветра.

Листья хлестали его по лицу, но он скакал, не замечая их, бледный, крепко стиснув зубы. На правой руке лопнула перчатка, Лермонтов сорвал ее, бросил в реку. Дорога шла берегом Подкумка. С криком взлетали птицы. Прежде чем перепрыгнуть балку с отблескивающей на дне болотистой водой, «Черкес» сжимался весь, затем вытягивался в ниточку и, подбросив всадника в седле, летел дальше.

Солнце жгло плечи. Тени гор пересекали дорогу, клубящуюся розоватой пылью, и, въехав в ущелье с нависшими скалами, Лермонтов вздрогнул: повеяло сыростью склена. Было темно, только вверху, над головой, бежала узкая голубая полоска, все утоньшаясь, пока мрак, обступив со всех сторон всадника, не прикрыл небо шапкой. Конь споткнулся о камень, и Лермонтов, чтобы не упасть, схватился за край скалы. Она была липкая, в мокром мху, и Лермонтов передернулся от пронизавшего его отвращения.

Когда он открыл глаза, свет брызнул в лицо теплом. Заржав, «Черкес» вынес Лермонтова на поляну с клонящимися по ветру маками и остановился пофыркивая.

Жужжала мошкара.

Солнце ложилось золотой пеленой на зеленеющие отроги гор. Казалось, горы плыли в нетронутой глубине неба, огромные и величественные, как жизнь...

С минуту Лермонтов раздумывал, потом вдруг круто повернул коня и, прищпорив, поскакал обратно.

---

Было далеко за полдень, когда в туманной дымке замелькали тростниковые крыши Пятигорска. Над Машуком курилось облачко. Охваченный нетерпением, Лермонтов изо всех сил гнал хряпящего «Черкеса». Фуражку Лермонтов обронил, скакал с разлетающимися от ветра волосами. На бульваре играла музыка. Кружащиеся звуки вальса напомнили ему, что вчера еще в это самое время он танцевал с Эмилией Александровной. «Пустяки, все должно уладиться, — думал Лермонтов, — ну, погорячились и — конец». Теперь он боялся одного: опоздать — и, въехав во двор своего дома, поспешно спрыгнул с коня.

Бросив поводья подбежавшему Ефиму, Лермонтов спросил:

— Никого не было?

— Дважды справлялись их сиятельство, — отвечал Ефим, — да вот они сами, — и ука-

вал на Васильчикова, спускавшегося по лесенке флигеля.

Князь Ксандр был в щегольском рединготе, с цилиндром и тростью в руке. Румяное его, в бачках лицо было растерянно, нижняя губа отвисла.

— Ксандрушка, — сказал Лермонтов, подходя и обнимая друга за плечо, — я согласен, идем мигреться в ресторацию.

Васильчиков испуганно заморгал:

— Опоздал, братец. Ння... Мартынов два часа, как уехал в Кисловодск. Прощай! Я спешу на бульвар. Все наши там...

Размахивая тростью, князь торопливо зашагал к выходу.

Лермонтов внимательно посмотрел ему вслед и, обернувшись к Ефиму, сказал:

— Хорошенько выводи «Черкеса».

Перешагнув порог дома, Лермонтов разыскал в углу веник и стал обмахивать им сапоги.

— Наконец-то, — слышался голос Столыпина, — а я уж думал, ты уехал в Железные, — дверь распахнулась, и Алексей Аркадьевич появился на пороге в полной парадной форме, с новенькой фуражкой в руке.

— Куда это ты вырядился? — хмуро спросил Лермонтов, не поднимая головы.

— Как куда? В ресторацию. Ждал только тебя. Переодевайся и идем.

— А зачем, позволительно спросить?

Надев фуражку, Столыпин выравнивал ее по козырьку.

— Станный вопрос! Разве Глебов не говорил тебе? В ресторации будет Мартынов, помирим вас.

— Мартышка уехал в Кисловодск.

— Как уехал? — Столыпин с ужасом смотрел на Лермонтова. — Да я только что, минуты две назад, видел его.

Лермонтов молчал. Окончив чистить сапоги, он выпрямился, провел рукой по мокрому лбу.

— Кто тебе сказал, что он уехал? — спрашивал Столыпин, входя вслед за Лермонтовым в горницу.

На столе горела свеча. При мерцанье потрескивающего огонька лицо Лермонтова, как-то сразу осунувшееся и постаревшее, было грустно. Устремив тяжелый свой немигающий взгляд на Столыпина, Лермонтов усмехнулся:

— Вот пристал. Не все ли равно кто!

И, пожав плечами, вышел из комнаты.

Близился вечер. В окнах, настезь распахнутых, слышались голоса, звуки фортепьяно. По

камням тротуара шли, переговариваясь, пары, звонко стучали каблучки.

Поскрипывая проехала арба, запряженная волами.

Заложив правую руку за борт скюртука, левую — за спину, Лермонтов шел, сам не зная куда, без цели, равнодушно поглядывая вокруг, и, завидев знакомых, торопливо переходил на другую сторону. Лицо его было хмуро, брови сдвинуты. Досадуя на свое возвращение, он иронически кривил губы, а душу уже охватывала тоска, и, чтобы избавиться от нее, Лермонтов невольно ускорял шаги.

Незаметно для себя он прошел дом Верзилиных, а когда вспомнил об этом, даже не остановился. Зачем? Никто его там не ждет. Все это — пустое, детские бредни. И образ Эмилии, еще недавно такой желанный, был сноса далек, почти безразличен.

Он знал: никто не протянет руки, не скажет нужного слова. Да полно, существуют ли такие слова? Сам он не говорил их никому. Открыть свою — душу миру, — пожалуй, он так и делал, ночью, наедине с перечеркнутой строфой, но довериться другу или женщине — этого он не мог.

Все дальше уходил он от городского, замирающего шума и, очутившись среди извилистых тро-

пинок, стал подниматься на Машук. Здесь было светло. Еще чирикали птицы.

Наконец, вот и Эолова арфа.

Лермонтов замедлил шаги. Во времена его детства на месте беседки стоял казачий пикет.

А под беседкой виден грот, каменная пещера, куда он прятался от бабушки. Лермонтов опустился на скамью.

Было тихо.

Задумавшись, смотрел он вниз, на расстилавшийся бульвар.

По аллеям шли дамы в широких, колоколом, юбках, в разноцветных капорах, подвязанных под шею лентами. Пестрели персидские халаты торговцев, разложивших на ковриках тифлиссские чубуки, кинжалы в золоченой оправе, а еще дальше, там, где кусок темнеющего неба повис между горами, словно тяжелый кавказский шолк, белеет Подкумок, будто разлитое по зеленому столу молоко, — так низко, почти без берегов течет эта неутомимая речка. Мальчнком, лежа в камышах, Лермонтов часами следил, как, прыгая с камня на камень, мчатся ее стремительные воды.

Улыбка скользнула по губам поэта: давно это было...

Давным-давно, у чистых вод,  
Где по кремням Подкумок мчитсн,  
Где за Машуком день встает,  
А за крутым Бешту садитсн...



Воды бегут, как дни его жизни: бурно и шумно, — а солнце падает, и меркнет день — еще один день изгнания. Сейчас раскаленный диск солнца скроется за отрогом синего Бешту. Издали он напоминает орла, широко распластавшего свои мощные крылья перед полетом.

---

42

